

Бессонница

Мебель трескается по ночам.
Где-то каплет из водопровода.
От вседневного груза плечам
В эту пору дается свобода,

В эту пору даются вещам
Бессловесные души людские,
И слепые, немые, глухие
Разбредаются по этажам.

В эту пору часы городские
Шлют секунды туда и сюда,
И плетутся хромые, кривые,
Подымаются в лифте живые,

Неживые и полуживые,
Ждут в потемках, где каплет вода,

Вынимают из сумок стаканы
И приплясывают, как цыганы,

За дверями стоят, как беда,
Сверла медленно вводят в затворы
И сейчас оборвут провода.
Но скорее они – кредиторы,

И пришли навсегда, навсегда,
И счета принесли. Невозможно
Воду в ступе, не спавши, толочь,
Невозможно заснуть, – так тревожна
Для покоя нам данная ночь.
1958

Близость войны

Кто может умереть – умрет,
Кто выживет – бессмертен будет,
Пойдет греметь из рода в род,
Его и правнук не осудит.

На предпоследнюю войну
Бок о бок с новыми друзьями
Пойдем в чужую сторону.
Да будет память близких с нами!

Счастливец, кто переживет
Друзей и подвиг свой военный,
Залечит раны и пойдет
В последний бой со всей Вселенной.

И слава будет не слова,
А свет для всех, но только проще,
А эта жизнь – плакун-трава
Пред той широкошумной рощей.

* * *

Был домик в три оконца
В такой окрашен цвет,

Что даже в спектре солнца
Такого цвета нет.

Он был еще спектральной,
Зеленый до того,
Что я в окошко спальни
Молился на него.

Я верил, что из рая,
Как самый лучший сон,
Оттенка не меняя,
Переместился он.

Поныне домик чудный,
Чудесный и чудной,
Зеленый, изумрудный,
Стоит передо мной.

И ставни затворяли,
Но иногда и днем
На чем-то в нем играли,
И что-то пели в нем,

А ночью на крылечке
Прощались и впотьмах
Затепливали свечки
В бумажных фонарях.
1976

В дороге

Где черный ветер, как налетчик,
Поет на языке блатном,
Проходит путевой обходчик,
Во всей степи один с огнем.

Над полосою отчужденья
Фонарь качается в руке,
Как два крыла из сновиденья
В середине ночи на реке.

И в желтом колыбельном свете
У мироздания на краю
Я по единственной примете
Родную землю узнаю.

Есть в рельсах железнодорожных
Пророческий и смутный зов
Благословенных, невозможных,
Не спящих ночью городов.

И осторожно, как художник,
Следит приезжий за огнем,
Покуда железнодорожник
Не пропадет в краю степном.

В музее

Это не мы, это они - ассирийцы,
Жезл государственный бравшие крепко в клешни,
Глинобородые боги-народоубийцы,
В твердых одеждах цари, – это они!

Кровь, как булыжник, торчит из щербатого горла,
И невозможно пресытиться жизнью, когда
В дыхало льву пернатые вогнаны сверла,
В рабьих ноздрях – жесткий уксус царева суда.

Я проклиная тиару Шамшиада,
Я клинописной хвалы не пишу все равно,
Мне на земле ни почета, ни хлеба не надо,
Если мне царские крылья разбить не дано.

Жизнь коротка, но довольно и ста моих жизней,
Чтобы заполнить глотающий кости провал.
В башенном городе у ассирийцев на тризне
Я хорошо бы с казненными попиrowал.

Я проклиная подошвы царских сандалий.
Кто я – лев или раб, чтобы мышцы мои

Без возданыя в соленую землю втоптали
Прямоугольные каменные муравьи?

* * *

В последний месяц осени, на склоне
Суровой жизни,
Исполненный печали, я вошел
В безлиственный и безымянный лес.
Он был по край омыт молочно-белым
Стеклом тумана.
По седым ветвям
Стекали слезы чистые, какими
Одни деревья плачут накануне
Всеобесцвечивающей зимы.
И тут случилось чудо: на закате
Забрезжила из тучи синева,
И яркий луч пробился, как в июне,
Как птичьей песни легкое копье,
Из дней грядущих в прошлое мое.
И плакали деревья накануне
Благих трудов и праздничных щедрот
Счастливых бурь, клубящихся в лазури,
И повели синицы хоровод,
Как будто руки по клавиатуре
Шли от земли до самых верхних нот.

Верблюд

На длинных нерусских ногах
Стоит, улыбаясь некстати,
А шерсть у него на боках
Как вата в столетнем халате.

Должно быть, молясь на восток,
Кочевники перемудрили,
В подшерсток втирали песок
И ржавой колючкой кормили.

Горбатую царскую плоть,
Престол нищеты и терпенья,

Нещедрый пустынный-господь
Слепил из отходов творенья.

И в ноздри вложили замок,
А в душу – печаль и величье,
И верно, с тех пор погремок
На шее болтается птичьей.

По Черным и Красным пескам,
По дикому зною бродяжил,
К чужим пристрастился тюкам,
Копейки под старость не нажил.

Привыкла верблюжья душа
К пустыне, тюкам и побоям.
А все-таки жизнь хороша,
И мы в ней чего-нибудь стоим.

Весенняя пиковая дама

Зимний Германн поставил
Жизнь на карту свою, –
Мы играем без правил,
Как в неравном бою.

Тридцать первого марта
Карты сами сдаем.
Снега черная карта
Бита красным тузом.

Германн дернул за ворот
И крючки оборвал,
И свалился на город
Воробьиный обвал,

И ножи конькобежец
Зашвырнул под кровать,
Начал лед-громовержец
На реке баловать.

Охмелев от азарта,
Мечет масти квартал,
А игральные карты
Сроду в руки не брал.

Ветер

Душа моя затосковала ночью.

А я любил изорванную в клочья,
Исхлестанную ветром темноту
И звезды, брезжущие на лету.
Над мокрыми сентябрьскими садами,
Как бабочки с незрячими глазами,
И на цыганской масляной реке
Шатучий мост, и женщину в платке,
Спадавшем с плеч над медленной водою,
И эти руки как перед бедою.

И кажется, она была жива,
Жива, как прежде, но ее слова
Из влажных *Л* теперь не означали
Ни счастья, ни желаний, ни печали,
И больше мысль не связывала их,
Как повелось на свете у живых.

Слова горели, как под ветром свечи,
И гасли, словно ей легло на плечи
Все горе всех времен. Мы рядом шли,
Но этой горькой, как польнь, земли
Она уже стопами не касалась
И мне живую больше не казалась.

Когда-то имя было у нее.
Сентябрьский ветер и ко мне в жильё
Врывается –
то лязгает замками,
То волосы мне трогает руками.

1959

Поздняя зрелость

Не для того ли мне поздняя зрелость,
Чтобы, за сердце схватившись, оплакать
Каждого слова сентябрьскую спелость,
Яблока тяжесть, шиповника мякоть,

Над лесосекой тянувшийся порох,
Сухость брусничной поляны, и ради
Правды – вернуться к стихам, от которых
Только помарки остались в тетради.

Все, что собрали, сложили в корзины, –
И на мосту прогремела телега.
Дай мне еще поклониться с вершины,
Дай удержаться до первого снега.